

ПРОЩЕНИЕ

Повесть

Ганс пропал около полудня.

Перед этим ее «хэнди» как раз зазвонил в самый неудобный момент — она только что вошла в дом и, нате вам, обнаружила старика, как ни в чем не бывало расположившегося в гостиной: налил лимонад в ржавую кастрюлю для садовых удобрений (где только разыскал!), размочил там коробку из-под яиц и уже старательно жует ее. Выцветшие глазки жидкой голубизны, как эмалевое небо над башнями старинного Кайзербурга, струйка слюны стекает по морщинистому подбородку, — пришлось немедленно натягивать резиновую перчатку, чтобы вытащить у него изо рта куски картона, и на вызов она не ответила.

Мелодия «Beethoven fantasy» вскоре раздалась снова; звонила ее соотечественница Лада, родом из Витебска, предлагала поехать на сеанс какой-то гадалки, якобы внучки сибирского шамана, а вероятнее всего, очередной аферистки (бедные немцы! понаехало ж нас на вашу голову!): «Ты ж родилась в шестьдесят шестом, тебе кровь из носу надо, у тебя судьба закрыта, две шестерки на конце!» И когда Лариса, отложив, наконец, мобильник, вернулась в гостиную, чтобы дать Гансу его обычную дозу мелперона, старика там уже не было.

Заглянула в его комнату, голую, словно конура отечественного алкоголика, а не апартаменты баварского пенсионера, там было пусто, лишь старинное трюмо, — издевательски, как ей показалось, — мерцало выщербленной амальгамой. Но тут полуоткрытая входная дверь с прикрепленным к ней с внутренней стороны небьющимся зеркалом (по совету врача и прикрепили, мол, собственное отражение отвлекает больного от намерения покинуть дом), дверь, которую Лариса забыла запереть, все и разъяснила: пока она говорила по телефону, старик сбежал!

Бросилась на единственную улицу деревни; как бы прогуливаясь (главное — не привлекать внимания, живо донесут в больничную кассу, что «эта русская» плохо смотрит за больным), но все же достаточно быстрым шагом, прошла мимо частных парадизов с алыми и золотыми тюльпанами, роскошными нарциссами, похожих на дорогие магазины светильников, где взяли и зажгли все лампы сразу, вот только расположены они по прихоти модного дизайнера не вверх, а вниз. Соседки усердно работали в палисадниках; их развеваемые ветром шейные платки напомнили ей поднимающих головы змей.

Старика на улице не было.

Пока шла назад, вспоминала вчерашнее: вернувшись из Эбенсфелда, застала Ганса у старинного трюмо — стоял, не зажигая света, тощие ноги в перекрутившихся кальсонах, майка напялена на свитер (одевался сам), свалившийся пух на темени — словно мох на камне-кругляше, каких полно в округе. Стоял, вперившись в собственное отражение. Что он мог видеть там в темноте? Тронула за плечо — Ганс посмотрел на нее неузнавательно и снова обратился к зеркалу, провал рта без всякого выражения прошамкал: «Здесь холодно... нет еды... нет спичек... никого нет», — именно так она поняла смысл его бормотания. Перед ней стоял безумец, который уже перечеркнул реальность ее существования, и она устало усмехнулась: может быть, ее в самом деле нет? Вот было бы замечательно! А через минуту раздалась хриплые звуки, как будто скрежещет заезженная пластинка, это он запел: «Auf Wiedersehen... Auf Wiedersehen...», даже правой рукой попытался кому-то в зеркале помахать как бы на прощание, а затем вытянул эту руку перед собой: «Sieg Heil!», но не удержал равновесия и повалился бы на пол кулем, если бы она его не поддержала.

Она тогда отвлекла внимание больного от зеркала, поманив его сахарным печеньем (безотказное средство переключения реальностей, неизменно возвращающее Ганса в здесь-и-теперь), помогла улечься в постель, скормив ему вместе с печеньем двойную дозу мелперона. И задумалась — в который раз! — над тем, как прихотливо блуждает в лабиринтах прошлого помраченное сознание. Ей, конечно же, известно, что неуклонное стирание всех отпечатков реального мира характерно для болезни Ганса, в основе которой процесс прогрессирующей гибели нейронов. Впервые описанный Альцгеймером вид слабоумия весьма распространен здесь, в Германии; полгода назад умер их сосед Пауль, такой же утративший память старик, к тому же одержимый

страстью к бродяжничеству, его брату-пенсионеру приходилось с ним нелегко. Ральфу тоже хватило бы хлопот с собственным отцом, если бы не она, Лариса. Время от времени погибающие нейроны Ганса, толчками прорывающие плотную пленку беспамятства, — так рыба выбрасывается на берег из отравленного водоема, — выносят на поверхность те или иные небьющиеся осколки. «Зиг Хайль...» Ну а ты чего хотела — чтобы он затянул «Вставай, страна огромная»?..

О том, как все начиналось, она знает по рассказам Ральфа. Когда Ральф Крауз, второй по счету законный ее супруг, привез сюда ее со Светкой, которую решил удочерить, Гансов маразм уже цвел пышным цветом, хищно расправляя свои лепестки цвета сумерек. Еще пять лет назад, говорил Ральф, Ганс был добродушным старичком с белым пухом на темени и младенчески ясным взглядом за стеклами очков. Все свободное время он проводил в курятнике: разведение кур было его страстью. На своем «фольксвагене» ездил в ближайший город, Эбенсфелд, где продавал яйца несущек знакомым пенсионеркам, с которыми коротал тихие вечера за чашкой кофе. Сумерки разума начались вполне безобидно: старик стал забывать дни рождения родственников и даты оплаты счетов. К вечеру забывал о том, что утром стригся в парикмахерской или сдавал у врача кровь на анализ; ближайшие дни кто-то словно аккуратно вынимал из ячеек, и лакуны памяти пустели. И пока Ральф описывал ей казусы, происходившие с отцом в банке и в супермаркете, она вспомнила о том, что древнегреческое слово «а-летейя», то есть истина, буквально означает «отсутствие забвения». Утратив память, неизбежно теряешь истину. К примеру, больной хворью Альцгеймера мгновенно забывает то, что было вчера, зато события, которые произошли полвека назад, предстают перед ним как никогда ярко. Он теряет способность складывать буквы в слова, даже если был первым учеником в школе, не осознает, когда к нему обращаются, перестает узнавать знакомые лица; ткань бытия, состоящая из привычек, расплетается, как прогнивший гамак, и человек проваливается в пустоту. В финале происходит распад всех навыков, остаются лишь примитивные рефлексy. Все это разъяснил им психиатр, на прием к которому они с Ральфом возили Ганса; и еще ей запомнилось, что разные проявления этой болезни носят неожиданно красивые греческие названия: агнозия, афазия, апраксия — три сестры, три антипода Мнемозины.

Ральф заметил странности в поведении отца, когда тот вдруг забыл рецепт соуса, который готовил уже лет сорок к воскресным блюдам, — готовил на старой электроплитке, потому что новая плита, слишком «навернутая», с панелями выпуклых кнопок, которую Ральф купил в кредит, в свои сорок пять запланировав, наконец, жениться (то, что невесты еще не было в наличии, его не смущало), оказалась для старика слишком сложной. Потом обнаружилось, что Ганс запаматовал, как делается кофе; однажды он решил вскипятить на электроплитке молоко в пластмассовой чашке — запах во всем доме стоял еще тот, но старик его не чувствовал: как раз перед этим у него внезапно пропало обоняние. Когда же он стал ездить по центру дороги, не придерживаясь правой полосы и не реагируя на сигналы водителей, а потом оставил в Эбенсфелде «фольксваген» открытым настежь и отправился домой пешком, его пришлось отлучить и от машины. Именно тогда началась Великая Эпоха Ключей: Ганс переворачивал все в поисках ключей от «фольксвагена», прятал связку от входной двери и почтового ящика, при этом, разумеется, тут же забывая, куда; ключи принимался искать Ральф, и этот поисковый зуд, как заразная бацилла, немедленно передавался любому, кто входил в дом. Ганс по двадцать раз на дню спускался в гараж, чтобы подергать за ручку дверцу машины, но однажды утром посмотрел на свой «фольксваген» с отстраненным любопытством натуралиста, как будто это — воссозданный для Мюнхенского музея природоведения скелет бронтозавра. О существовании агрегата, регулирующего степень обогрева дома газом, агрегата, который сам же и устанавливал четверть века назад, он как-то очень быстро забыл, а вот про печь и дрова помнил долго, и топил так, что в доме стояла настоящая Сахара. Это, естественно, злило Ральфа: ему загатавливать дрова. Если раньше Ганс ежедневно читал местную газету, то теперь просматривал только колонку с некрологами, а вскоре уже и не понимал, для чего нужен этот кусок бумаги с жучками-буковками. А в восьмидесятый день своего рождения (Лариса как раз оформила в больничной кассе ежемесячное пособие по уходу — теперь она считалась официальной Krankenpflegerin больного, то есть сиделкой) огорошил пришедшую на кофе соседку Алицию, на ее вежливое: «Сколько тебе исполнилось, Ганс?» торжественно возвестив: «Семнадцать!» — «Так тебе известно, как повернуть время вспять, Ганс!» — всплеснула руками соседка, но он, уже забыв о ней, жадно жевал пирог, испеченный новой сиделкой, — что-то, а аппетит у него всегда был отменный, даже булочки для завтрака она начала прятать, потому что все, неосмотрительно выложенное на стол, он съедал ночью, а утром забывал и требовал еще.

Алиция! Может быть, Ганс направился к ней — по инерции памяти, как в те годы, когда днями пропадал в курятнике, а яйца несущек продавал соседке по сходной цене? Она бросилась через живую изгородь к дому, успела даже позвонить в дверь, когда вспомнила (нет, все-таки уход за сумасшедшим влияет и на ее разум), что Алиция вчера вылетела в Вашингтон на похороны единственного сына, гражданина США, который подорвался на mine в Ираке. И когда в дверь высунулось заспанное, но даже в таком виде неизменно плутоватое лицо Отто: «Что случилось? Нужна помощь?» — она уже поняла, что Ганса здесь нет, но на всякий случай спросила, даже по предложению хозяина вместе с ним обошла дом сзади и заглянула в сад. Отто считал необходимым делать

серьезное лицо, наверное, из-за Майка (а сам при этом так и шарил глазами по ее груди, ногам), хотя было совершенно очевидно, что ему плевать на этого Майка, который так и не смог простить матери развода с его отцом-американцем, а когда Алиция вернулась в Германию, где вторично вышла замуж, навсегда прекратил отношения с ней. Подробности о жизни сына Алиция узнавала через частное детективное агентство (которому, кстати, платила немалые деньги): стал военным психологом, менял места службы, отправился в Ирак, между прочим, добровольно. Нелепая его смерть должна жечь жестокосердную мать каленым железом пожизненно — естественно, с точки зрения покойного (стоп, может ли у покойного быть точка зрения?). Но она, супруга Ральфа и сиделка Ганса, давно посвященная соседкой во все ее тайны, уж она-то знала, о чем на самом деле рыдала Алиция за три часа до отлета самолета: плутоватый Отто во время командировки в Прагу спутался с молоденькой чешской проституткой (которая взяла его тем, что «голосовала» у дороги в длинной норковой шубе и сапогах-чулках на голое тело) и, по слухам, даже прижил с нею младенца. Сына Алиция не видела пятнадцать лет — могла ли она, если вдуматься, искренне плакать о незнакомом бородатом мужчине, который ничуть не был похож на двенадцатилетнего мальчика, оставленного ею в Америке? Годы идут, и ничья смерть уже ничего не в состоянии доказать.

Как и ничья жизнь. Ее, Ларисы Вашкевич-Крауз, в том числе. Да и была ли она у нее, жизнь? Разумеется, была, вполне беспросветная, как на ее взгляд. Только вот в ее родной стране, где привыкли к сверхопыту боли, а страдание измерялось такими масштабными катаклизмами, как война, репрессии, Чернобыль, ее отдельно взятое несчастье никого не впечатляло да и вообще мало что значило. Школа в райцентре, крикливые лозунги и яйцеподобные гипсовые головы вождей — от этого фантастического существования мозг защищался абсолютно реальной утратой зрения: так запотевало зеркало в ванной комнате, — стоило включить слишком горячую воду, и в нем уже нельзя было ничего разглядеть, разве что изобразить на влажной поверхности фигуру из трех пальцев. Или плакатный профиль трех создателей «великого учения» — трехголового существа, которое смотрело из всех школьных учебников и размножалось, очевидно, простым делением: только таким малозатратным способом можно было наплодить столько уродливых близнецов. «Ты должна носить очки и сидеть на первой парте», — она и сидела за первой партой в уродливых очках с черной оправой, девочка Дай-Списать, но зрение все равно продолжало падать... Ну а что там было дальше-то, а? Да известно что: вуз, метры печатного текста, которые можно было запросто расстелить наподобие «дорожки», — ага, ковер-самолет, транспортировавший их, усердных зубрилок научного, якобы, коммунизма в страну, которой на самом деле, естественно, не существовало, а существовало другое: вечная нищета, мокрые ноги, обернутые газетой (спасибо, мать научила) все с теми же красноречиво констатирующими факт всеобщего и полного процветания текстами, — мокрые ноги в протекающих, еще материнских сапогах... Доучилась-таки до диплома и до комнаты в общежитии; в качестве приложения — мат пролетарских соседей за стенкой, а потом и замужество, и скоростная кончина надежды, что все у нее теперь будет «как у людей». Зрение между тем снижаться продолжало, как будто ее изобретательный мозг старался поскорее размыть картинки, что ему показывали, — дабы выжить самому, не сорваться в истерику с резанием вен (как соседка по общежитию) или банальный психоз.

А картинки-то были одни и те же, привычные, как штамп в паспорте, как захезанный павильончик под окном с надписью «Пиво-Воды»: муж, «патриотично» пропивающий зарплату с алкашами с родного завода; болезни, Светкины и ее, загаженные лазареты с притаившимся наподобие лох-несского монстра неуловимым внутрибольничным стафилококком, произвол люмпенов от медицины с их животным чутьем на чужую незащищенность: неопохмеленные санитарки с одинаковыми «фонарями» на синюшных физиономиях распаивают настежь дверь единственного на весь этаж сортира со сломанной защелкой, не обращая внимания на то, есть ли кто внутри. Смерть матери от инсульта, перед этим — ее гниение заживо в переполненном коридоре, где интимность поправа, нет уже ни мужчин, ни женщин, лишь бесполое существо, как перед печью крематория. Муж между тем допиллся уже до того, что проигрался блатным (тогда, в середине девяностых, уголовники чувствовали себя вольно), и мрачного вида бугаи в наколках молча вынесли из квартиры телевизор, мебель, ее и Светкины вещи. И, наконец, финал — муж, повесившийся посредством брючного ремня на трубе батареи отопления в их пустой, хоть в футбол играй, однокомнатной квартире.

Вот тогда, после вторых за год похорон, лежа ночами без сна, Лариса и поняла, что потеря зрения спасала ее от потери рассудка: ее «я» инстинктивно пряталось в кокон слепоты, чтобы не видеть, а жизнь насильно разверзала ей вежды, — нет, отрезала веки! — и вот она теперь воспринимает мир оголенной сетчаткой, как, наверное, воспринимали Солнце буддийские мистики, которые сами проделывали над собой эту изуверскую операцию, чтобы сон не отвлекал их от поисков Абсолюта. Но мистики, надо отдать им должное, делали это как раз для того, чтобы прозреть; она же, выходит, стала слепой по собственному желанию — ну и открытие! — и даже долго, очень долго прикрывала глаза руками, чтобы сохранить свои иллюзии. Но жизнь, как палач, заставляющий глядеть на пытки близкого существа, отдирала ее руки от ее же органов зрения, — вовсе не из вредности, не из скрупулезного садизма, не из желания запереть ее в психбольницу с диагнозом «эндогенная депрессия», а чтобы, наоборот, спасти. А может, даже вовсе не ради нее, тридцатитрехлетней наивной дурищи с